

Эта книга — Джону и Кинтоне

1

*Жизнь меняется быстро.
Жизнь меняется за секунду.
Сядишься ужинать — и знакомая тебе жизнь
кончается.
Вопрос жалости к себе.*

Первые слова, которые я написала после того, как это произошло. В вордовском файле “*Notes on change.doc*”¹ проставлено время 23.11 20 мая 2004 года, но, по-видимому, это из-за того, что я открыла файл и перед закрытием по привычке нажала “сохранить”. В мае я никаких изменений в файл не вносила. Я не вносила никаких изменений в файл с тех пор, как написала эти слова в январе 2004-го, на следующий день, или через два дня, или через три после того, как это произошло.

*И потом долго ничего больше не писала.
Жизнь меняется за секунду.
Самую обычную секунду.*

1 “Заметки о перемене” (англ.).

В какой-то момент, стремясь запомнить самое поразительное в том, что произошло, я подумывала добавить слова “самую обычную секунду”. Но быстро поняла, что нет необходимости добавлять эпитет “обычную”, потому что я бы и так его не забыла: это слово ни на миг не покидало моих мыслей. Именно обыденность всего, что предшествовало, мешала мне полностью поверить в случившееся, принять его, признать, усвоить и жить дальше. Теперь я понимаю, что в этом-то как раз не было ничего неординарного. Столкнувшись с внезапным несчастьем, все мы концентрируемся на том, сколь заурядны были обстоятельства, когда произошло немыслимое: ясное голубое небо, откуда рухнул самолет; простая поездка, закончившаяся в горящем на обочине автомобиле; качели, на которых дети резвились, как всегда, и тут из плюща нанесла удар гремучая змея. “Он ехал домой с работы — счастливый, благополучный, здоровый — и вдруг его не стало”, — прочла я в рассказе медсестры психиатрического отделения, чей муж погиб в дорожной аварии. В 1966 году мне довелось брать интервью у многих людей, переживших в Гонолулу 7 декабря 1941 года. Все они без исключения начинали рассказ о нападении на Перл-Харбор с того, что это было “обычное воскресное утро”. “Это был обычный красивый сентябрьский день”, до сих пор говорят жители Нью-Йорка, если их просят описать то утро, когда борт №11 “Американ эйрлайнс” и борт №175 “Юнайтед эйрлайнс” врезались в башни Всемирного торгового центра. Даже отчет комиссии по расследованию теракта 11 сентября начинается с этой повествовательной ноты — настойчиво пред-

вещающей и все же растерянной: “Вторник, 11 сентября 2001 года, погода на рассвете умеренная, на востоке Соединенных Штатов почти безоблачно”.

“И вдруг его не стало”. Посреди жизни в смерти пребываем, говорится в заупокойной службе епископальной церкви. Позже я осознала, что, очевидно, излагала все подробности случившегося каждому, кто навещал меня в первые недели, всем друзьям и родственникам, которые приносили еду и смешивали напитки и выставляли на стол угощение для любого количества людей, какое бы ни собралось тут во время обеда или ужина, – всем тем, кто счищал еду с тарелок, убирал в холодильник остатки, включал посудомойку и заполнял наш (я еще не могла мысленно сказать “мой”) опустевший дом даже после того, как я уходила в спальню (нашу спальню, где на диване все еще лежал выцветший махровый халат размера XL, купленный в семидесятых у Ричарда Кэррола¹ в Беверли-Хиллс) и закрывала за собой дверь. Наиболее отчетливо в те первые дни и недели я помню моменты, когда меня внезапно утягивало на дно изнеможение. И совсем не помню, как рассказывала кому-то подробности, но, значит, рассказывала, потому что все, по-видимому, их знали. Однажды я задумалась: может быть, они делились моей историей друг с другом? Но сразу отбросила эту версию: рассказ был слишком точен, он не искажался, переходя из рук в руки. Нет, они узнали все от меня.

Еще одно указывало на то, что история исходит именно от меня: ни в одной из возвращавшихся ко мне версий не было деталей, в которые я пока не ре-

¹ Ричард Кэррол, одевавший звезд Голливуда, умер в марте того же 2003 года.

шалась всмотреться. Например, не упоминалась кровь на полу гостиной — кровь оставалась там до следующего утра, пока не пришел Хосе и не вымыл пол.

Хосе. Часть нашего семейства. Он собирался вылететь в Лас-Вегас в тот день, но так и не улетел. В то утро Хосе плакал, замывая кровь. Когда я попыталась объяснить ему, что произошло, он не сразу понял. Конечно, я была неподходящим рассказчиком, мой рассказ был одновременно слишком небрежным и слишком уклончивым, и что-то в самой интонации противоречило смыслу, не передавало ключевой факт события (я потерпела такую же неудачу позже, когда пришлось рассказать Кинтане), однако, увидев кровь, Хосе наконец понял.

Я подобрала брошенные шприцы и электроды от ЭКГ до того, как он пришел утром, но кровь мне оказалась не по силам.

Вкратце.

Сейчас, когда я начинаю это писать, 4 октября 2004 года, вторая половина дня.

Девять месяцев и пять дней тому назад, приблизительно в девять часов вечера 30 декабря 2003 года у моего мужа Джона Грегори Данна, по-видимому (или так оно и было на самом деле), случился, когда мы только что сели ужинать в гостиной нашей квартиры в Нью-Йорке, обширный инфаркт, приведший к смерти. Наш единственный ребенок, Кинтана, предыдущие пять суток лежала без сознания в реанимации медицинского центра “Бет Изрэл”, в филиале имени Зингеров. В ту пору это была больница

на Ист-Энд авеню (она закрылась в августе 2004-го), обычно именуемая “Бет Изрэйл норт”, или “Старая докторская”. То, что начиналось как декабрьский грипп, достаточно тяжелый, чтобы в утро Рождества “скорая” отвезла Кинтану в больницу, обернулось пневмонией и септическим шоком. Здесь я пытаюсь осмыслить последующий период, недели и затем месяцы, которые разрушили все мои устойчивые представления о смерти, о болезни, о вероятности и удаче, о доброй и злой судьбе, о супружестве и детях, о памяти, о скорби, о тех способах, с помощью которых люди справляются или не справляются с фактом, что жизнь конечна, о тонкой корочке нормальности и о жизни как таковой. Всю свою жизнь я была писателем. И как писатель, еще в детстве, задолго до того, как то, что я писала, стали публиковать, я пришла к выводу, что смысл присутствует в ритмах слов, и фраз, и абзацев: техника, скрывающая то, что я думала или во что верила, за все более непроницаемыми слоями лака. То, как я пишу, и есть та, кто я есть или кем стала, но на этот раз я бы хотела вместо слов и их ритмов располагать монтажной с электронной системой редактирования, чтобы коснуться клавиши — и обрушить хронологическую последовательность, показать вам разом все кадры памяти, которые ныне предстают передо мной, позволить вам выбирать ракурсы, едва отличающиеся друг от друга выражения, разные прочтения одних и тех же реплик. На этот раз мне понадобится нечто большее, чем слова, чтобы обрести смысл. На этот раз мне понадобится то, что я сочту или признаю проницаемым — хотя бы для меня самой.

2

30 декабря 2003 года, вторник.
Мы навестили Кинтану в реанимации
на шестом этаже “Бет Изрэил норт”.
Вернулись домой.

Обсудили, сходить куда-нибудь на ужин или поесть
дома.

Я сказала, что растоплю камин и мы поужинаем
дома.

Я растопила камин, начала готовить ужин, спро-
сила Джона, хочет ли он выпить.

Я принесла ему скотч в гостиную, он сидел
в кресле у камина, как обычно, и читал.

Он читал книгу Дэвида Фромкина, сигнальный
экземпляр — “Последнее лето Европы: кто начал Ве-
ликую войну в 1914 году?”.

Я закончила приготовления к ужину, накрыла
стол в гостиной: когда мы ели дома, мы устраива-
лись там, чтобы смотреть на огонь. Замечаю, что
я все время упоминаю огонь — это потому, что
огонь был важен для нас обоих. Я выросла в Кали-
форнии, потом мы прожили там двадцать четыре
года вместе с Джоном, а в Калифорнии мы обогре-

вали дом, растапливая камин. Мы топили даже летними вечерами, если напал туман. Огонь говорил, что мы дома, очертили себя кругом, проведем ночь в безопасности. Я зажгла свечи. Джон попросил еще порцию скотча перед ужином. Я принесла ему. Мы сели за стол. Я смешивала салат, сосредоточилась на этом.

Джон разговаривал со мной и вдруг умолк.

В какой-то момент, за секунды или за минуту до того, как умолкнуть, он спросил меня, какой скотч я налила ему во второй раз — односолодовый? Я ответила: нет, тот же самый, что и в первый раз.

— Это хорошо, — сказал он, — не знаю почему, но я предпочитаю их не смешивать.

В другой момент в эти секунды или в эту минуту он рассуждал о том, как Первая мировая война оказалась критическим событием, из которого истекает все, что произошло далее в двадцатом веке.

И я понятия не имею, о чем мы говорили — о скотче или о Первой мировой войне — в тот момент, когда он вдруг умолк.

Помню только, что оглянулась на него. Левая его рука задралась вверх, а сам он неподвижно осел на стуле. Сперва я подумала, это неуклюжая шутка, попытка справиться с тяжелым днем.

Помню, как сказала ему:

— Перестань.

Когда он не ответил, я решила, что он начал есть и подавился. Помню, как пыталась сдвинуть его к краю стула, чтобы надавить на диафрагму и вытолкнуть застрявший кусок. Помню ощущение неподъемного его веса, когда Джон рухнул впе-

ред, сначала грудью на стол, потом на пол. В кухне возле телефона была приклеена карточка с номерами “скорой” Пресвитерианской больницы Нью-Йорка. Я не потому приклеила там карточку, что предвосхитила подобный момент. Я приклеила эти номера рядом с телефоном на случай, если “скорая” понадобится кому-то из соседей.

Кому-то другому.

Я набрала первый номер. Оператор спросила, дышит ли он. Выезжайте скорее, ответила я. Когда прибыли парамедики, я попыталась объяснить им, что произошло, но не успела договорить, как они уже превратили ту часть гостиной, где упал Джон, в реанимационное отделение. Один из них (из троих или четвертых, даже час спустя я не сумела их пересчитать) связался с больницей и обсуждал кардиограмму, которую они, по-видимому, уже передавали. Другой готовил первый или второй из множества предстоящих уколов (Адреналин? Лидокаин? Проккаиамид? Названия приходили на ум, но я понятия не имела, откуда они брались). Помню, я сказала, что он мог подавиться. Одним движением пальца моя теория была опровергнута: дыхательные пути свободны. Теперь они пустили в ход дефибрилятор, пытались восстановить ритм. Добились чего-то похожего на сердцебиение (или я подумала, что добились, мы все молчали, и произошел резкий скачок), не сумели его удержать и начали заново.

— Фиб продолжается, — помню, сказал один из них в телефонную трубку.

— Ви-фиб, — уточнил на следующее утро кардиолог Джона, позвонивший из Нантакета. — Навер-

ное, они говорили о ви-фибриляции, “Ви” значит “вентрикулярная”, желудочковая.

Возможно, они говорили “ви-фиб”, а возможно, и нет. Фибрилляция предсердий не приводит или не всегда приводит к остановке сердца. Фибрилляция желудочков приводит. Наверное, это была желудочковая.

Помню, как напряженно пыталась сообразить, что будет дальше. Поскольку в гостиной работала скорая помощь, следующим логичным шагом представлялась поездка в больницу. Мне пришло в голову, что вот-вот решат везти его в больницу, а я не готова. Нет под рукой того, что надо взять. Я засуечусь, и меня оставят дома. Я нашла сумочку, связку ключей и выписку из медицинской карты Джона. Когда я вернулась в гостиную, медики смотрели на монитор компьютера, который они установили на полу. Мне монитора не было видно, поэтому я стала следить за выражением их лиц. Помню, как двое переглянулись. Решение ехать в больницу было принято мгновенно. Я шла за ними до лифта, спросила, могу ли поехать вместе с Джоном. Они ответили, что сначала спустят каталку. А я могу сесть во вторую машину. Один из медиков подождал вместе со мной, пока лифт не поднялся снова на мой этаж. Когда мы сели во вторую машину, первая, с каталкой, уже отъезжала. От нас до того филиала Пресвитерианской больницы, что прежде был просто Больницей Нью-Йорка, — шесть перекрестков. Не помню, включалась ли сирена. Не помню, много ли было машин. Когда мы подъехали к входу, предназначенному для экстренных случаев, каталка уже ис-